

Я знаю, что не должно произносить решительных суждений о каком-нибудь народе; если можно ошибиться, осуждая человека, то тем возможнее эта ошибка, когда дело идет о целом народе, которого субстанция глубже и таинственнее, чем субстанция одного частного человека; но если мы станем судить по фактам, то должны будем заключить, что у французского народа нет эстетического чувства. Посмотрите на оба момента французской поэзии, на классицизм и на романтизм, и вы увидите, что в этих двух противоположностях есть одно общее отсутствие истинной поэзии; французский классицизм не есть тот греческий классицизм, по преимуществу *прекрасный*, пластический, спокойный и ясный, как верное отражение прекрасного и светлого мира греков; нет, это есть бедное и жалкое подражание древним, это есть перенесение живого и вечно юного не в эстетическую субстанцию целого народа, а во вкус маленького, развращенного, гнилого кружка, лишенного того чувства бесконечного, которое составляет необходимое условие всякой поэзии, и вот почему простой мир греков преобразился во Франции в чопорное жеманство, в пошлую, холодную чувствительность и в отсутствие всякой простоты и естественности. Революция перевернула Францию, и она перешла из одной непросветленной односторонности в другую, противоположную ей и точно так же непросветленную односторонность: в романтизме ее точно такое же отсутствие поэзии, как и в классицизме. Классицизм был гнилым проявлением маленького исключительного кружка, романтизм же есть проявление целой непросветленной и неодоухотворенной толпы; и вот почему новая литература Франции наполнена кровавыми и соблазнительными сценами, и вот почему она также наполнена фразами, с тою только разницею, что фразы ее классицизма были чопорны и жеманны, а фразы ее романтизма – неистовы: где нет созерцания бесконечного, там необходимо должны быть фразы, а где нет живой религии, там не может быть созерцания бесконечного. Французы из жеманства впали в естественность, но не в одухотворенную, не в просветленную естественность, а в отвратительную естественность мяса. И мудрено ли, что при таком отсутствии религиозного и эстетического чувства, которые составляют живую сущность народа, мудрено ли, что Франция впала в такое болезненное, в такое мучительное состояние? Вся жизнь Франции есть не что иное, как сознание своей пустоты и мучительное стремление наполнить ее чем бы то ни было, и все средства, употребляемые ею для наполнения себя, призрачны и бесплодны, потому что истинные бесконечные средства лежат в религии, в святом откровении божием – в христианстве, а они не знают и не хотят знать христианства; им нужно *новое*, по словам их безбожного патриарха Вольтера, который говорил: Il nous faut du nouveau n'en ail plus au monde<sup>1</sup>.

Находясь вне христианства, они чувствуют потребность религии и стараются выдумать свою религию, не зная, что религия – не от рук человеческих, а есть откровение божие и что вне христианства нет и не может быть истинной религии: вот источник смешного сенсимонизма и других религиозных сект, если их можно только назвать религиозными. Французы бросаются в философию, заимствуют у англичан, у немцев и по тому же самому недостатку бесконечной субстанции превращают философию и всякую истину в пустые, бессмысленные фразы, в произвольность и анархию мышления и в стряпанье новых идеек. Нового, нового, старое нам надоело – вот общий девиз юной Франции, и это беспрестанное стремление от пустого старого к пустому новому есть источник *моды*, одной постоянной богини французов, и они приносят ей в жертву все, что только есть святого, истинно великого в жизни. И много, много еще пройдет времени до тех пор, пока Франция не сделается тою великою нацией, какую она себя воображает.

Но болезнь Франции не ограничилась Францией; это отсутствие религии, эта внутренняя пустота, эта *philosophie du bon sens*<sup>2</sup> распространились далеко за границу ее и составили общую болезнь XVIII века. Болезнь страшная, мучительная, выход из которой есть сознание своей бесконечной пустоты, и великий Байрон был поэтическим выразителем этого сознания, этого мучительного перехода от XVIII века к XIX, от болезни к выздоровлению. Его поэзия есть вопль отчаяния, раздирающий вопль страдающей души, погруженной в созерцание своей пустоты и своего равнодушия ко всему, что есть святого и прекрасного в жизни, это есть глубокая потребность любви, делающая его неспособным привязаться к конечным благам мира сего, и неспособность возвыситься над конечностью и над призрачностью ледяного мира все умерщвляющего рассудка. И выход, единственно для него возможный, есть стоицизм, окаменение и насильственное равнодушие пустого *Я*; жалкий, бедный выход в сравнении с тем, который нам предлагает наша божественная религия, в сравнении с выходом в просветлении посредством и силою благодатной любви, исцеляющей все раны стремящегося и жаждущего человека.

<sup>1</sup> Нам нужно новое, хотя бы его и не было больше на свете (фр.).

<sup>2</sup> Философия здравого смысла (фр.).